

Габриэль
Гарсиа Маркес



Нобелевская
премия

Двенадцать
рассказов-странников

[рассказы]



Габриэль Гарсиа Маркес

**Двенадцать рассказов-
странников (сборник)**

«ФТМ»
«АСТ»

Маркес Г.

Двенадцать рассказов-странников (сборник) / Г. Маркес —
«ФТМ», «АСТ»,

ISBN 978-5-17-075394-9

Над рассказами, вошедшими в сборник, великий Маркес работал восемнадцать лет. Не потому ли, что писатель возвращался к ним снова и снова, все они восхищают отточенностью стиля, совершенством формы и удивительной точностью воплощения авторской идеи? О людях, которые приносят в добровольное (или не очень) изгнание привычное ощущение жизни в центре магических, сюрреалистических событий – и невольно заражают им окружающих. Двенадцать маленьких шедевров. Двенадцать коротких историй о латиноамериканцах в Европе. Барселона. Бразильская «ночная бабочка» одержима идеей научить своего пса оплакивать могилу, которая станет последним местом ее упокоения... Женева. Изгнанный диктатор маленькой карибской страны становится постояльцем в доме водителя «скорой помощи»... Тоскана. Семейство туристов неожиданно встречается с призраком в замке, где теперь обитает знаменитый писатель из Венесуэлы... Что еще подарит Латинская Америка скучной и скучающей Европе – какое чудо, какую опасность?

ISBN 978-5-17-075394-9

© Маркес Г.

© ФТМ

© АСТ

Содержание

Пролог	5
Счастливого пути, господин президент!	8
Святая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Габриэль Гарсия Маркес

Двенадцать рассказов- странников (сборник)

Пролог

Почему двенадцать, почему рассказы и почему странники

Двенадцать рассказов этой книги были написаны на протяжении последних восемнадцати лет. Прежде чем они приняли эту форму, пять из них были журналистскими заметками и киносценариями, а один – сценарием телевизионного сериала. Еще один я рассказал пятнадцать лет назад в интервью, а мой друг, которому я его рассказал, записал его на магнитофон, а потом опубликовал, и теперь я заново написал его, основываясь на той версии. Это был необычный творческий опыт, и о нем стоит рассказать, хотя бы для того, чтобы дети, которые собираются стать писателями, знали, сколь ненасытен этот порок – испепеляющая страсть к писанию.

Первый раз замысел пришел мне в голову в начале семидесятых годов, когда я увидел вещий сон, в Барселоне, где жил уже пять лет. Мне приснилось, будто я присутствую на собственных похоронах и иду вместе с друзьями, одетыми в торжественный траур, но настроение у нас – праздничное. Такое впечатление, что все мы счастливы оттого, что вместе. А я – больше всех счастлив, что смерть дала мне такую прекрасную возможность – снова оказаться вместе с моими друзьями из Латинской Америки, самыми старинными, самыми любимыми, и я хочу идти с ними и дальше, но один из них строго и решительно дает мне понять, что для меня праздник окончен. «Ты единственный, кто не может идти», – говорит он. И тут я понял, что умереть – значит никогда больше не быть с друзьями.

Почему-то я истолковал тот назидательный сон как осознание своей сущности и подумал, что это – хорошая отправная точка для того, чтобы написать о тех странных вещах, какие случаются с латиноамериканцами в Европе. Это была обещающая находка; незадолго до того я закончил «Осень Патриарха», быть может, самый мой рискованный и тяжелый труд, и не знал, куда направляться дальше.

Около двух лет я набрасывал приходившие мне в голову темы, не решив еще, что с ними делать. В тот вечер, когда я начал писать, у меня не было тетради, и дети дали мне школьную тетрадь. А потом, боясь, как бы она не потерялась, во время наших частых поездок возили ее в своих ранцах. Таким образом я записал шестьдесят четыре темы с такими подробностями, что оставалось лишь сесть и написать книгу.

В 1974 году в Мексике, куда я вернулся из Барселоны, мне стало ясно, что эта книга должна быть не романом, как я вначале думал, а сборником коротких рассказов, основанных на журналистских фактах, которые будут спасены от забвения тонким искусством поэзии. До того я написал три книги рассказов. Однако ни одна из трех не была задумана как единое целое, каждый рассказ был самостоятельным и случайным. Поэтому написать шестьдесят четыре рассказа, если бы удалось написать их на едином дыхании, соблюдая внутреннее единство тона и стиля, так, чтобы они неразрывно соединились в памяти читателя, представлялось мне увлекательной затеей.

Два первых рассказа – «По следу твоей крови на снегу» и «Счастлирое лето сеньоры Форбес» – я написал в 1976 году и сразу же опубликовал в литературных приложениях в раз-

ных странах. Я не позволял себе ни дня отдыха, но на середине третьего рассказа, который, разумеется, был рассказом о моих похоронах, я почувствовал, что устал больше, чем если бы писал роман. То же самое произошло, и когда я писал четвертый рассказ. Короче, у меня не хватило сил и духу довести дело до конца. И теперь я понимаю почему: на короткий рассказ тратишь столько же сил, сколько нужно, чтобы начать большой роман. Потому что в первом же абзаце романа надо определиться во всем: как писать – в каком тоне, стиле, ритме, знать, как длинен он будет, а иногда даже обрисовать характер какого-нибудь персонажа. Все остальное – наслаждение самим процессом писания, требующим величайшего самоуглубления и одиночества, какое только можно себе представить, и если до конца своих дней ты не продолжаешь править и переписывать роман, то лишь потому, что та же самая железная сила, которая необходима, чтобы начать книгу, заставляет тебя закончить ее. А когда берешься за рассказ, там нет ни начала, ни конца: он или завязывается, или не завязывается. И если он не завязывается сразу, то – знаю и по собственному опыту, и по чужому – в большинстве случаев лучше начать его заново и совсем иначе или выкинуть в мусорную корзину. Кто-то, не помню кто, замечательно выразил это утешительной фразой: «Хороший писатель лучше узнается по тому, что он разорвал, чем по тому, что он опубликовал». По правде говоря, я не разорвал черновики и наброски, я поступил хуже: начисто о них забыл.

Помнится, эта тетрадка в Мексике на моем письменном столе тонула в ворохе бумаг до самого 1978 го да. Однажды я искал что-то совсем другое и подумал, что она давно уже не попадаете мне на глаза. Но не обеспокоился. А когда понял, что ее и на самом деле не было на столе, я по-настоящему перепугался. В доме не осталось и угла, который бы я не обшарил. Мы двигали мебель, снимали с полок книги, чтобы убедиться, что тетрадка не завалилась за них, и подвергли непростительным расспросам обслугу и друзей. Никакого следа. Единственно возможное – или приемлемое? – объяснение: расчищая в очередной раз стол от бумаг, что я делаю часто, я вместе с бумагами отправил в мусорную корзину и тетрадь.

Меня удивила собственная реакция на это: вспомнить темы, о которых я думать не думал почти четыре года, стало для меня делом чести. Я старался вспомнить их во что бы то ни стало и с таким напряжением, как если бы писал, и в конце концов восстановил наброски к тридцати из них. А поскольку, вспоминая, я одновременно подвергал их строгому отбору, то без особого сожаления отбросил те, из которых, как мне показалось, ничего нельзя было сделать, и в результате осталось восемнадцать. На этот раз я намерен был писать их сразу, без передышки, но вскоре понял: запал у меня прошел. Однако же вопреки тому, что я всегда советовал начинающим писателям, я не выбросил их на помойку, а снова отложил и убрал. На всякий случай.

Когда я начал писать «Историю одной смерти, о которой знали заранее» в 1979 году, я понял, что, делая перерывы между книгами, я теряю навык, и мне с каждым разом становится все труднее начинать новую работу. И потому в период между октябрём 1980 года и мартом 1984 я каждую неделю писал журналистские заметки для газет разных стран – ради дисциплины и чтобы перо не остывало. Именно тогда мне подумалось, что мой конфликт с набросками в той тетради связан с определением их литературного жанра и что все-таки это должны быть не рассказы, а газетные очерки. И только после того, как я опубликовал пять очерков, написанных на основе набросков из тетради, я снова переменял мнение: они больше подходят для кино. И так были написаны пять сценариев для кино и один – для телевизионного сериала.

Не предвидел я одного – что работа для газеты и для кино может изменить мои собственные представления относительно рассказов, так что, когда я стал писать их в том виде, в каком они теперь выходят в свет, мне приходилось тщательно, пинцетом, отделять мои собственные представления от тех, которые были привнесены режиссерами во время работы над сценариями. И кроме того, одновременная работа с пятью разными творческими личностями подсказала мне новый метод: я начинал писать рассказ, когда выдавалось свободное время, и откла-

дывал его, когда уставал или возникала какая-нибудь непредвиденная работа, а потом начинал другой. Таким образом немногим более чем за год шесть из восемнадцати тем оказались в мусорной корзине, и среди них – рассказ о моих похоронах, потому что мне так и не удалось описать радостное настроение праздника, которое я пережил во сне. Остальные же рассказы, похоже, обрели дыхание на долгую жизнь.

Вот они, двенадцать рассказов этой книги. В сентябре прошлого года они уже были готовы к печати – после двух лет работы с перерывами. И так бы они, наверное, окончили свое бесконечное странствие со стола в мусорную корзину и обратно, да в последний момент меня снова царапнуло сомнение. Поскольку разные города Европы, в которых происходят события моих рассказов, я писал по памяти и по прошествии времени мне захотелось проверить, точно ли помнились мне они спустя почти двадцать лет, и я отправился в короткую опознавательную поездку в Барселону, Женеvu, Рим и Париж.

Ни один из этих городов уже не имел ничего общего с моими воспоминаниями. Все они, как и вся сегодняшняя Европа, предстали мне в диковинном смещении: подлинные воспоминания казались мне призраками, рожденными фантазией, в то время как воспоминания выдуманные выглядели так убедительно, что подменили собой реальность. Так что казалось невозможным различить линию, отделявшую разочарование от ностальгической грусти. И это решило дело. Я наконец-то нашел то, чего мне более всего не хватало, чтобы закончить книгу, и что могли дать мне лишь прошедшие годы, – временную перспективу.

Путешествие удалось, и, возвратившись, я еще раз с начала до конца переписал все рассказы за восемь месяцев лихорадочной работы, и мне не было нужды задаваться вопросом, где кончается реальная жизнь и начинается воображение, ибо помогало подозрение: может статься, ничто из пережитого мною двадцать лет назад в Европе не было подлинным. На этот раз я писал взахлеб, так что порою казалось, что пишу исключительно ради чистого наслаждения рассказать, и быть может, это человеческое состояние более всего походит на левитацию. Кроме того, работая одновременно над всеми рассказами и свободно перескакивая от одного к другому, мне удалось достичь панорамного видения, что спасло от усталости, которая одолела бы меня, начиная я каждый рассказ в отдельности, и помогло справиться с праздным многословием и губительными противоречиями. По-моему, мне удалось написать книгу, наиболее приближенную к той, какую всегда хотелось написать.

Вот она, эта книга, можно подавать к столу, после того как рассказы столько странствовали туда-сюда, борясь за то, чтобы пережить превратности сомнений. Все рассказы, кроме двух первых, были закончены одновременно. И расположены они в том же порядке, в каком были расположены в тетради.

Я всегда считал, что окончательный вариант рассказа лучше, чем предыдущий. Но как узнать, какой должен стать последним? Это – секрет ремесла, и он подчиняется не законам разума, а магии инстинктов, – точно так же повариха знает, когда суп готов. Во всяком случае, при всех сомнениях я не стану перечитывать их, как никогда не перечитывал ни одной своей книги, чтобы потом не казнить себя. Тот, кто их прочтет, сам поймет, что с ними делать. К счастью для этих двенадцати рассказов-странников, оказаться в конце концов в мусорной корзине будет облегчением: все равно что вернуться домой.

Счастливого пути, господин президент!

Он сидел на деревянной скамье под желтой листвой в обезлюдевшем парке, опершись руками о серебряный набалдашник трости, глядел на пыльных лебедей и думал о смерти. Когда он приехал в Женеву в первый раз, озеро было спокойным и прозрачным, прирученные чайки подлетали и клевали прямо с ладоней, а женщины, которых можно было нанять за деньги, все в оборках из органди и в шелковых шляпах, казались призраками в шесть часов вечера. Теперь единственной доступной женщиной в поле его зрения была цветочница на пустынной набережной. С трудом верилось, что время способно произвести подобные разрушения не только в его жизни, но и в окружающем мире.

Он был еще одним безвестным в этом городе, полном безвестных знаменитостей. В темно-синем костюме в белую полоску, парчовом жилете и жесткой шляпе, какую носят отставные судьи; заносчивые мушкетерские усы, отливающие голубизной; густые, романтические кудри; руки, точно у арфиста, вдовцовское кольцо на безымянном пальце левой руки, веселые глаза. Только усталая кожа выдавала нездоровье. И все равно он оставался необыкновенно элегантным в свои семьдесят три года. В то утро, однако, в нем не было и тени тщеславия. Время славы и власти безвозвратно осталось позади, ему оставалось лишь время смерти.

Он вернулся в Женеву после двух мировых войн, в намерении выяснить наконец, что это за боль, которую никак не могли определить врачи на Мартинике. Он собирался пробыть тут не более двух недель, но уже шесть недель его подвергали изнурительным обследованиям, и конца им не было видно, а результаты не давали ясности. Боль искали в печени, в почках, в поджелудочной железе и в простате, где ее как раз не было вовсе. И наконец в один злосчастный четверг самый знаменитый доктор из полчища докторов, осматривающих его, назначил ему прием на девять утра в неврологическом отделении.

Кабинет походил на монашескую келью, а у самого доктора, маленького и мрачного, правая рука была в гипсе из-за перелома большого пальца. Когда свет погас, на экране засветился снимок позвоночника, который он не признал за свой, пока доктор не показал указкой место ниже пояса, где соединялись два позвонка.

– Ваша боль – здесь, – сказал он.

Он не считал, что все так просто. Боль была непонятной и ускользающей, иногда она появлялась в правом подреберье, иногда в низу живота, а случалось, внезапно пронзала пах. Доктор терпеливо выслушал его, молча и не отрывая указки от экрана.

– Потому-то мы так долго и не могли ее найти, – сказал он. – Но теперь знаем, что она тут. – Потом приложил указательный палец к виску и уточнил: – Хотя, строго говоря, господин президент, вся боль – тут.

История его обследования складывалась так драматично, что окончательный приговор показался милостивым: президенту надлежало подвергнуться неминуемой и рискованной операции. Президент спросил, какова степень риска, и старый доктор, как мог, осветил этот полный неясности вопрос.

– Наверняка нельзя сказать, – ответил он.

И уточнил, что совсем недавно риск рокового исхода был очень велик, но еще чаще дело кончалось параличами различной степени тяжести. Однако благодаря достижениям медицины в двух последних войнах эти страхи отошли в прошлое.

– Ступайте спокойно, – заключил он. – Подготовьтесь хорошенько и известите нас. И не забывайте: чем раньше, тем лучше.

Это было не самое удачное утро, чтобы переварить столь дурную новость, да еще при такой непогоде. Он вышел из отеля очень рано, без пальто, потому что в окно увидел сияющее солнце, и, медленно ступая, прошел от Шмен-де-Бо-Солей, где находилась клиника, до Убе-

жища тайных влюбленных в Английском парке. Он пробыл в парке больше часа, неотступно думая о смерти, и тут осень настигла его. Озеро взволновалось, точно штормовой океан, налетел ветер, разметал чаек и сорвал последние листья с деревьев. Президент поднялся и, вместо того чтобы купить цветок у цветочницы, сорвал в садовом вазоне маргаритку и вставил себе в петлицу. Цветочница удивилась.

– Эти цветы – не Божьи, – сказала она недовольно. – Эти цветы – мэрии.

Он и бровью не повел. И пошел прочь большими легкими шагами, крепко перехватив трость посередине и поигрывая ею с несколько развязной грацией. На мосту Мон-Бланш спешно снимали флаги Конфедерации, взбесившиеся на ветру, и высокую фонтанную струю, увенчанную пеной, выключили раньше времени. Президент не узнал хорошо знакомого кафе на набережной – зеленый полотняный навес убрали заблаговременно, а теперь запирали летние террасы, уставленные цветочными горшками. В зале среди дня горели лампы, и струнный квартет уже наигрывал Моцарта. Президент взял из кипы газет на стойке, приготовленных для клиентов, одну, оставил трость и шляпу на вешалке, надел очки в золотой оправе, собираясь сесть за столик почитать, и только тут понял, что осень уже наступила. Он начал читать с международной страницы, где изредка попадались сообщения о латиноамериканских странах, и так читал, от последних страниц к первым, пока официантка не принесла ему, как обычно, бутылку минеральной воды «Эвиан». Вот уже тридцать лет, как он по настоянию врачей отказался от привычки к кофе. Но сказал себе: «Когда я буду знать точно, что скоро умру, снова начну пить его». Возможно, этот момент настал.

– И еще принесите мне кофе, – заказал он на прекрасном французском. И уточнил, не пренебрегая двусмысленностью: – По-итальянски, каким мертвецов подымают.

Он выпил его без сахара, медленными глотками, а потом поставил чашечку на блюдце кверху дном, чтобы кофейный осадок, столько лет не вопрошаемый, начертал его судьбу. Снова ощутив давний вкус кофе, он на миг отвлекся от тяжелых мыслей. А в следующий миг – словно в продолжение того же колдовства – почувствовал, что кто-то на него смотрит. Он как бы невзначай перевернул страницу, а сам посмотрел поверх очков и увидел бледного небритого человека в спортивной шапочке и куртке из выворотной кожи, который тотчас же отвел глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом.

Лицо было ему знакомо. Они несколько раз встречались в вестибюле клиники, потом он видел его ехавшим на легком мотоцикле по Променад-дю-Лак, в то время как сам он созерцал лебедей, но ни разу он не почувствовал, что тот его узнал. Не исключено, однако, что это просто фантазия, эдакая мания преследования, рожденная изгнанием.

Он не спеша дочитал газету, купаясь в изысканных пассажах Брамса, пока боль не перебила наркотическое действие музыки. Тогда он глянул на золотые часы с цепочкой, которые носил в кармане жилета, и принял две полагавшиеся в полдень таблетки, запив их последним глотком «Эвиана». Прежде чем снять очки, он попробовал прочесть судьбу на кофейной гуще и вздрогнул: полная неясность.

Наконец, расплатившись по счету и оставив нищенские чаевые, он взял с вешалки трость и шляпу и вышел на улицу, не взглянув на наблюдавшего за ним человека. Он пошел прочь веселым шагом, обходя разбитые ветром цветочные вазоны, и решил, что ему удалось избавиться от наваждения. Но вдруг почувствовал за спиной шаги: он свернул за угол, остановился и полуобернулся. Человек, преследовавший его, резко остановился, чтобы не наткнуться на него, и замер, испуганно уставясь на президента, всего в двух пядях от его глаз.

– Сеньор президент, – пролепетал он.

– Скажите тем, кто вам платит, чтобы не строили иллюзий, – сказал президент, ни теряя при этом ни улыбки, ни обаяния в голосе. – Здоровье мое превосходно.

– Никто лучше меня этого не знает, – сказал человек, придавленный тяжестью обрушенного на него достоинства. – Я работаю в клинике.

И говор, и интонация, и даже робость были у него чистого карибского замеса.

– Неужели врач? – сказал президент.

– Ну, до этого далеко, – сказал человек. – Я – шофер «скорой помощи».

– Сочувствую, – сказал президент, убедившись в своей ошибке. – Тяжелая работа.

– Не такая тяжелая, как ваша, сеньор.

Президент посмотрел ему прямо в глаза, оперся о трость обеими руками и спросил с искренним интересом:

– Откуда вы?

– С Карибов.

– Это я уже понял, – сказал президент. – Из какой страны?

– Из той же, что и вы, сеньор, – сказал человек и протянул ему руку. – Меня зовут Омеро Рей.

Изумленный президент перебил, не выпуская его руки из своей:

– Черт возьми! Какое славное имя!

Омеро перевел дух.

– И это еще не все, – сказал он. – Омеро Рейде-ла-Каса¹.

Порыв зимнего ветра ножом полоснул по ним, беззащитным посреди улицы. Президента пронзило до костей, и он понял, что не в силах будет прошагать без пальто еще два квартала до дешевой харчевни, где обычно обедал.

– Вы обедали? – спросил он у Омеро.

– Я никогда не обедаю, – ответил Омеро. – Я ем один раз, вечером, дома.

– Сделайте сегодня исключение, – сказал президент, вкладывая в эти слова все обаяние, на какое был способен. – Я приглашаю вас отобедать со мной.

И, взяв его под руку, повел к ресторану на другую сторону улицы, название которого золотыми буквами было выведено на парусиновом навесе: «Le Voeuf Couronné»². Внутри было тесно и жарко и, похоже, не осталось ни одного свободного места. Омеро Рей, удивленный, что никто не узнает президента, направился в глубину зала за помощью.

– Действующий президент? – задал вопрос хозяин ресторана.

– Нет, – ответил Омеро. – Свергнутый.

Хозяин одобрительно улыбнулся.

– Для этих, – сказал он, – я всегда держу столик в запасе.

Он провел их в дальний угол зала, где они могли разговаривать сколько душе угодно. Президент поблагодарил его.

– Не всякий умеет, подобно вам, отдать дань достоинству в изгнании, – сказал он.

Фирменным блюдом ресторана были жаренные на углях бычьи ребра. Президент и его гость огляделись вокруг и увидели на столах огромные куски мяса, окаймленные нежным жирком. «Великолепное мясо, – пробормотал президент. – Но мне оно запрещено». И, пристально поглядев на Омеро, сказал уже другим тоном:

– По правде говоря, мне запрещено все.

– Кофе тоже запрещен, – сказал Омеро, – однако же вы его пьете.

– Вы заметили? – сказал президент. – Но это было исключение ради исключительного дня.

Исключение в этот день было сделано не только для кофе. Он заказал бычьи ребра, салат из свежих овощей, заправленный только оливковым маслом. Гость его попросил то же самое и еще полкувшина красного вина.

¹ Гомер Король Дома (*исп.*).

² «Коронованный бык» (*фр.*).

Пока ждали мясо, Омеро достал из кармана пиджака бумажник без денег, но с ворохом разных бумажек, и показал президенту выпцветшую фотографию. Тот узнал себя: в рубашке с коротким рукавом, на несколько фунтов легче, а волосы и усы намного чернее, чем теперь, в окружении молодых людей, изо всех сил тянувшихся, чтобы выйти на фотографии. Он сразу узнал место, узнал эмблемы ненавистной предвыборной кампании и тот несчастливый день. «Что за черт, – пробормотал он. – Я всегда говорил, что человек на фотографии старится быстрее, чем в жизни». И возвратил фото таким жестом, словно ставил точку.

– Прекрасно помню, – сказал он. – Это было тысячу лет назад в маленьком селении Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

– Мое родное селение, – сказал Омеро и показал себя на снимке. – Вот он я.

Президент узнал его.

– Совсем мальчишка!

– Почти, – сказал Омеро. – Я был с вами все время в поездке по югу, руководил университетскими бригадами.

Президент предупредил упрек.

– А я, конечно, вас не замечал, – сказал он.

– Наоборот, вы очень хорошо к нам относились. Просто нас было много, всех не упомянешь.

– А потом?

– Кому знать лучше? – сказал Омеро. – Чудо, что после военного переворота мы с вами тут и собираемся съесть полбыка. Не всем так повезло.

Им принесли тарелки. Президент заложил салфетку за воротник, точно детский слюнтячик, и не остался бесчувственным к немому удивлению гостя. «Иначе за каждой едой пропадало бы по галстуку», – проговорил он. Прежде чем приняться за еду, он проверил, готово ли мясо, и, одобрительно кивнув, вернулся к теме.

– Одного не могу понять, – сказал он. – Почему вы не подошли раньше, вместо того чтобы ходить за мною, как шпик.

И тогда Омеро рассказал, что узнал его сразу, когда тот входил в клинику через вход, предназначенный для особых случаев. Лето стояло в разгаре, и на нем был белый полотняный костюм, двухцветные черно-белые туфли, маргаритка в лацкане пиджака, а великолепные волосы ерошил ветер. Омеро узнал, что в Женеве он – один, никто ему не помогает, он прекрасно помнит город еще с тех времен, когда учился тут на юриста. Дирекция клиники, по его просьбе, отдала соответствующие распоряжения, чтобы обеспечить ему полное инкогнито. В тот же вечер Омеро, посоветовавшись с женой, решил подойти к нему. Однако же он ходил за ним еще целых пять недель, выжидая подходящего случая, и, возможно, так и не осмелился бы поздороваться, если бы президент сам не встал лицом к лицу с ним.

– Я рад, что сделал так, – сказал ему президент. – Хотя, по правде говоря, одиночество меня не тяготит.

– Это несправедливо.

– Почему? – искренне удивился президент. – Главная победа моей жизни – я добился, что меня забыли.

– Мы помним вас гораздо больше, чем вы думаете, – сказал Омеро, не скрывая волнения. – Большая радость – видеть вас таким здоровым и молодым.

– А между тем, – сказал президент безо всякого драматизма, – все указывает на то, что я скоро умру.

– У вас такие способности выходить из любого положения, – сказал Омеро.

От удивления президент подпрыгнул, и это получилось у него весьма изящно.

– Черт возьми! – воскликнул президент. – Разве в прекрасной Швейцарии врачебная тайна отменена?

– Ни в одной больнице на свете нет тайн от шофера «скорой помощи», – сказал Омеро.

– То, что я знаю, я узнал всего два часа назад, и от того единственного, кому это следует знать.

– Что бы ни случилось, ваша смерть не будет напрасной, – сказал Омеро. – Найдутся люди, которые поместят вас куда надлежит, как пример высокого достоинства.

Президент изобразил на лице комическое изумление.

– Спасибо за предупреждение, – сказал он.

Он ел так же, как делал все: не торопясь и очень аккуратно, и, пока ел, глядел Омеро прямо в глаза, так что тому казалось, будто он видит его мысли. А в конце долгой беседы, пересыпанной ностальгическими воспоминаниями, на его лице появилась недобрая усмешка.

– Я было решил не беспокоиться о судьбе собственного трупа, – сказал он. – Но теперь вижу: пожалуй, следует принять некоторые предосторожности в духе полицейских романов, чтобы никто его не нашел.

– Бесполезно, – пробормотал Омеро. – В больницах ни одна тайна не держится дольше часа.

Когда допили кофе, президент посмотрел гушу на доньшке чашки и снова вздрогнул: смысл был тот же самый. Однако бровью не повел. Он расплатился наличными, но сперва несколько раз проверил счет и несколько раз с излишним тщанием пересчитал деньги, оставив такие чаевые, что официант лишь угрюмо буркнул.

– Я получил искреннее удовольствие, – подвел он итог, прощаясь с Омеро. – Я пока не знаю, когда операция, и пока не знаю, решусь ли на нее. Но если все пройдет благополучно, мы еще увидимся.

– А почему не раньше? – спросил Омеро. – Моя жена Ласара – повариха для богатых. Никто лучше нее не приготовит риса с креветками, и нам бы очень хотелось, чтобы вы пришли к нам как-нибудь вечером.

– Дары моря мне запрещены, но я с превеликим удовольствием отведаю их, – сказал он. – Говорите – когда.

– В четверг у меня свободный день, – сказал Омеро.

– Прекрасно, – сказал президент. – В четверг в семь вечера я буду у вас. С удовольствием.

– Я заеду за вами, – сказал Омеро. – Отелери Даме, четырнадцать, улица Индустри. За вокзалом. Правильно?

– Правильно, – сказал президент и встал из-за стола – само обаяние. – Я вижу, вам известен даже размер моих туфель.

– Конечно, сеньор, – сказал Омеро, развеселясь, – сорок первый.

Одного не сказал Омеро Рей президенту, хотя долгие годы потом рассказывал это направо и налево, каждому, кто хотел услышать: первоначальное намерение его не было столь невинно. Как и у всех шоферов клиники, у него была договоренность с похоронными конторами и страховыми компаниями относительно пациентов, особенно иностранцев со скудными средствами. Доходы были мизерными, к тому же их приходилось делить с другими служащими, передававшими по цепочке секретную информацию о тяжелых больных. И все-таки это было подспорьем для изгнанника, не имевшего никакого будущего и с трудом перебивавшегося вместе с женой и двумя детьми на смехотворное жалованье.

Ласара Дэвис, его жена, была более практичной. Типичная пуэрто-риканская мулатка из Сан-Хуана, плотная и низкорослая, с кожей цвета жженого сахара и глазами свирепой суки, вполне соответствующими ее нраву. Они познакомились в отделении, где лечили больных из милосердия и куда она поступила работать санитаркой на подхвате после того, как один рантье, ее соотечественник, завез ее в Женеву в качестве няньки, а потом бросил на волю судьбы. Они обвенчались по католическому обряду, хотя она была принцессой из племени йоруба, и

жили в квартире из гостиной и двух спален, на восьмом этаже, без лифта, в доме, населенном африканскими иммигрантами. У них была дочка Барбара девяти лет и сын Ласаро, семи, с незначительными признаками умственной отсталости.

Ласара Дэвис обладала умом, скверным характером и нежным нутром. Она считала себя ярко выраженным Тельцом и слепо верила в предначертания звезд. Однако ее мечта зарабатывать на жизнь в качестве астролога миллионеров не исполнилась. Все наоборот: она поддерживала дом случайными заработками, иногда довольно значительными, готовя ужины богатым дамам, которые потом бахвалились перед своими гостями возбуждающими антильскими кушаньями, якобы состряпанными собственноручно ими. Омеро был церемонно робок и не способен на большее, чем делал, однако Ласара не мыслила себе жизни без него, ибо в полной мере ценила невинность его сердца и калибр его ствола. Жили они ладно, хотя жизнь с годами становилась все жестче, а дети подрастали. К тому времени, когда появился президент, они уже начали пощипывать свои сбережения за пять лет. Так что, когда Омеро Рей обнаружил его в клинике среди больных-инкогнито, мечты их разгулялись.

Они не знали точно, что собираются у него попросить и по какому праву. Сначала решили продать ему погребение целиком, включая бальзамирование и отправку тела на родину. Но постепенно поняли, что смерть его не так близка, как показалось вначале. В день званого обеда их обуревали сомнения.

По правде говоря, Омеро не был руководителем университетских бригад, ничего похожего, и участвовал в предвыборной кампании всего один раз, когда была сделана эта фотография, которую они нашли чудом среди старых бумаг в шкафу. Но чувства его были горячими и искренними. Ему действительно пришлось бежать из страны после участия в уличном сопротивлении военному перевороту, хотя причиной столь долгого проживания в Женеве была всего-навсего слабость духа. Ложью больше, ложью меньше – какая разница, это не помеха, чтобы заслужить благосклонность президента.

Первый сюрприз для обоих: знаменитый изгнанник жил в отеле четвертого разряда в унылом квартале Гротт, среди азиатских иммигрантов и ночных бабочек, и питался в дешевых харчевнях, в то время как Женева изобиловала достойными резиденциями для политиков, попавших в немилость. Омеро видел своими глазами, как он изо дня в день делал то же самое, что делал в день, когда они познакомились. Омеро следил за ним и порою неосторожно сокращал дистанцию, сопровождая его в ночных прогулках по старому городу меж угрюмых, увитых желтыми колокольчиками стен. Он видел, как тот часами стоял, погруженный в мысли, перед памятником Кальвину. Он поднимался следом за ним, шаг в шаг, по каменной лестнице, задыхаясь от жаркого аромата жасмина, чтобы созерцать медленный летний закат с холма Бур-ле-Фур. Однажды вечером он видел, как тот, без пальто и зонтика, под первым осенним дождем стоял в студенческой очереди на концерт Рубинштейна. «Не могу понять, как он не схватил воспаление легких», – сказал Омеро жене. А накануне, в субботу, когда погода уже начала меняться, он видел, как тот покупал себе осеннее пальто с воротником из искусственной норки, но не в ярко освещенном магазине на Рюде-Рон, где всегда покупали изгнанные эмиры, а на блошином рынке.

– Ну значит, нечего и думать! – воскликнула Ласара, когда Омеро рассказал ей об этом. – Говенный скряга, да он позволит похоронить себя за казенный счет в общей могиле. Никогда мы ничего из него не вытянем.

– А может, он на самом деле бедный! – сказал Омеро. – Сколько лет не у дел!

– Я тебе так скажу: не всякий рожденный под знаком Рыб умеет так выходить сухим из воды, – сказала Ласара. – Все знают, что он прикарманил казенное золото и что он – самый богатый беженец с Мартиники.

Омеро, бывший на десять лет старше жены, вырос под впечатлением того факта, что президент учился в Женеве, одновременно работая на стройке простым рабочим. Ласара же,

напротив, выросла в обстановке сенсационных разоблачений враждебной президенту прессы, которые еще и преувеличивались в доме его врагов, где она с детских лет служила нянькой. А потому в день, когда Омеро пришел домой, задыхаясь от ликования: он обедал с президентом, – для нее главное заключалось в том, что президент пригласил Омеро в дорогой ресторан. Ей не понравилось, что Омеро не попросил у президента ничего из того, о чем они мечтали, – ни стипендий для детей, ни лучшего места в больнице для себя. И подумалось, что ее подзрения верны: он согласится, чтобы его труп выкинули на растерзание стервятникам, лишь бы не тратить свои франки на достойное погребение останков и славное возвращение их на родину. Но чашу переполнило сообщение, которое Омеро приберег напоследок: он пригласил президента в четверг к ним домой – отведать риса с креветками.

– Только этого нам не хватало, – заорала Ласара, – чтобы он помер у нас тут от креветок из консервов и мы хоронили бы его на наши жалкие сбережения для детей.

И все-таки она поступила так, как повелевала ей супружеская верность. Пришлось одолжить у соседки три мельхиоровых столовых прибора и стеклянную салатницу, у другой – электрическую кофеварку, у третьей – вышитую скатерть и китайские чашечки для кофе. Она заменила старые занавески на новые, которые вешала только по праздникам, сняла чехлы с мебели. Целый день она драила полы, выбивала пыль, переставляла вещи с места на место, пока не добилась совершенно противоположного тому, что собиралась сделать: растрогать гостя картиной честной бедности.

Вечером в четверг, отдышавшись после подъема на восьмой этаж, президент появился в дверях в своем новом подержанном пальто, в старомодной шляпе пирожком и с розой в руке – для Ласары. Она была поражена его мужественной красотой и графскими манерами и все-таки увидела таким, каким хотела видеть: лицемерным и хищным. Он показался ей дерзко бестактным, потому что она, готовя еду, открыла настежь все окна, чтобы квартира не пропахла креветками, а он, едва ступив на порог, вдохнул, словно во внезапном восторге, прикрыл глаза и, раскинув руки, воскликнул: «О, запах нашего моря!» Он показался ей скрягой из скряг, потому что принес одну-единственную розу, которую, конечно же, украл в общественном саду. Он показался ей заносчивым – с каким презрением оглядел он газетные вырезки о его былой президентской славе, вымпелы и флажки предвыборной кампании, которые Омеро простодушно развесил по стенам гостиной! Он показался ей черствым, потому что даже не поздоровался с Барбарой и Ласаро, которые изготовили своими руками для него подарок, и к тому же за ужином сказал вскользь, что не выносит двух вещей: собак и детей. Она его возненавидела. Однако врожденное карибское гостеприимство пересилило ее предрассудки. Она облачилась в праздничный африканский вечерний балахон, надела все свои священные ожерелья и браслеты и за столом не сделала ни одного ненужного жеста, не произнесла лишнего слова. Она была не просто безупречна, она была само совершенство.

По правде говоря, рис с креветками не относился к высшим достижениям ее кулинарного искусства, но она вложила в него душу, и он вышел замечательным. Президент положил себе рису на тарелку два раза, не скупясь на похвалы, и пришел в восторг от спелых бананов, жареных ломтиками, и салата из авокадо, хотя и не разделил с хозяевами ностальгических воспоминаний. Ласара терпеливо слушала до самого десерта, пока Омеро не завяз окончательно, так и не добравшись до сути, в проблеме существования Бога.

– Я верю, что Бог есть, – сказал президент, – только он не имеет никакого отношения к людям. Его дела – иного порядка.

– А я верю только в звезды, – сказала Ласара и с ликованием поглядела, какова реакция президента. – Скажите мне день вашего рождения.

– Одиннадцатое марта.

– Я так и думала, – заметила Ласара с ликованием в голосе и очень любезно спросила: – А не слишком ли – две Рыбы за одним столом?

Мужчины продолжали беседовать о Боге, а она ушла на кухню варить кофе. Остатки еды со стола она уже собрала и теперь всей душой желала, чтобы вечер закончился хорошо. Когда она возвращалась в гостиную с кофе, то услышала слова президента, сказанные в продолжение разговора, от которых просто остолбенела:

– Не сомневайтесь, мой дорогой друг, самое страшное, что могло случиться с нашей несчастной страной, это если бы я вновь стал президентом.

Омеро увидел Ласару, застывшую в дверях с китайскими чашечками и одолженной кофеваркой в руках, и подумал, что она сейчас грохнется в обморок. Президент тоже поглядел на нее.

– Не смотрите на меня так, сеньора, – сказал он ей мягко. – Я говорю искренне. – И, повернувшись к Омеро, закончил: – Хорошо, что я так дорого расплачиваюсь за собственное безрассудство.

Ласара подала кофе, погасила лампу над столом, чтобы ее безжалостный свет не мешал беседе, и гостиная погрузилась в уютную полутьму. Наконец-то гость заинтересовал ее – остроумие не могло скрыть его грусти. Любопытство Ласары возросло, когда он, допив кофе, поставил чашечку на блюдце кверху дном.

После десерта президент рассказал им, что выбрал себе для изгнания остров Мартинику потому, что дружил с поэтом Эме Сезером, – тот как раз издал свой «Cahier d'un retour au pays natal»³ и смог оказать ему помощь, чтобы он начал новую жизнь. На деньги, что оставались от наследства жены, они купили дом из благородного дерева на холме Фор-де-Франс с проволочными сетками на окнах и выходившей на море террасой со множеством незатейливых цветов, где приятно было вздремнуть под стрекот сверчков, когда с моря дует ласковый ветерок, а на столе стоит стакан с тростниковым ромом. Там он и остался с женою, которая была на четырнадцать лет старше его и болела со времени своих единственных родов; забаррикадировался от судьбы давним своим пороком – чтением латинских классиков в оригинале, убежденный в том, что переживает последний, заключительный акт своей жизни. На протяжении многих лет ему пришлось сопротивляться бесчисленным искушениям; какие только авантюры не предлагали ему его разгромленные сторонники.

– Я ни разу не распечатал ни одного письма, – сказал он. – Ни разу, после того как понял, что самые срочные через неделю становятся уже не такими срочными, а через два месяца о них не вспоминают даже те, кто их написал.

Он поглядел на Ласару в свете огонька – она закуривала – и жадным движением выхватил у нее сигарету. Глубоко затянулся и задержал дым в горле. Ласара, удивленная, взяла пачку сигарет и спички, собираясь закурить новую, но он вернул ей сигарету.

– Вы курите так вкусно, что я не смог удержаться от искушения, – сказал он. Но дым ему пришлось выдохнуть – подступил кашель. – От этого порока я отказался много лет назад, но он от меня не совсем отказался, – проговорил он. – Порою ему удается меня одолеть. Как сейчас.

Кашель сотряс его раз и другой. Возвратилась боль. Президент посмотрел на маленькие карманные часы и принял две вечерние таблетки. Потом внимательно исследовал дно кофейной чашечки: ничего не изменилось; однако на этот раз он не вздрогнул.

– Кое-кто из моих прежних сторонников стали президентами после меня, – сказал он.

– Сайаго, – сказал Омеро.

– Сайаго и другие, – сказал он. – И все, как я: узурпировали честь, которой не заслуживали, вместе со службой, которую не умели нести. Некоторые добивались только власти, а большинство и того меньше: должности.

Ласара разозлилась.

– А вы знаете, что о вас говорят? – спросила она его.

³ «Дневник возвращения на родину» (фр.).

Омеро испуганно вмешался:

– Это ложь.

– И ложь, и не ложь, – сказал президент с небесным спокойствием. – Когда речь идет о президенте, самая страшная хула может в одно и то же время быть и тем и другим: и правдой, и ложью.

Все время изгнания он жил на Мартинике, не имея никаких контактов с внешним миром, кроме скудных сообщений из официальной газеты, зарабатывая на жизнь уроками испанского и латыни в казенном лицее и переводами, которые ему иногда давал Эме Сезер. В августе жара стояла невыносимая, и он оставался в спальне, в гамаке, до полудня, читая под ровный гул вентилятора. Жена кормила вольных птиц даже в самое жаркое время дня, защищаясь от солнца лишь широкополой соломенной шляпой, украшенной искусственными фруктами и цветами из органди. Но когда жара спадала, приятно было посидеть в прохладе на террасе; он, не двигаясь, глядел в море, тонувшее в сумерках, а она, в рваной шляпе и перстнях с крупными камнями на каждом пальце, откинувшись в плетеной качалке, смотрела, как мимо проходят суда со всего света. «Этот идет в Пуэрто-Санто, – говорила она. – А этот так перегружен бананами из Пуэрто-Санто, что еле тащится». Она и мысли не допускала, что мимо могло пройти судно не из ее родных краев. Он был глух ко всему, хотя в конце концов ей удалось лучше его забыть все: она вообще потеряла память. Так они сидели, пока оглушительный закат не угасал, и тогда им приходилось спасаться в доме от одолевавших mosquitos. В один из таких августов президент, читавший газету, вдруг подскочил от изумления:

– Что за черт! Я умер в Эсториле!

Жена, забывшаяся в тяжелой дремоте, испугалась. Шесть строк на пятой странице газеты, которая издавалась рядом, за углом, в которой иногда публиковались его переводы и директор которой время от времени навещал их. И в этой газете пишут, что он умер в Лиссабоне, в Эсториле, быть может, единственном месте на свете, где ему не хотелось бы умереть. Жена его умерла год спустя, одолеваемая последним оставшимся у нее к тому времени воспоминанием – об их единственном сыне, который участвовал в свержении отца и впоследствии был расстрелян своими сообщниками.

Президент вздохнул.

– Вот такие мы, и от этого нам не уйти, – сказал он. – Континент, зачатый отбросами всего мира без проблеска любви: дети – плоды насилия, скотского или воровского, ненавистного соития врагов с врагами.

Он поглядел прямо в африканские глаза Ласары, безжалостно сверлившие его, и попробовал покорить ее на свой испытанный лад – красноречием.

– Слово «метизация», смешение или скрещивание, означает смешение слез с пущенной кровью. Чего можно ждать от такого настоя?

Ласара пригвоздила его к месту убийственным молчанием. Однако ближе к полуночи сумела пересилить себя и вежливо поцеловала его на прощание. Президент не позволил Омеро провожать его до гостиницы, однако не сумел воспротивиться, чтобы тот помог ему найти такси. Возвратившись, Омеро увидел, что жена вне себя от ярости.

– И правильно его свалили, – сказала она. – Потрясающий сукин сын.

Несмотря на все усилия Омеро успокоить ее, они провели ужасную бессонную ночь. Ласара признала, что красивее его мужчины она не видела, что он сногшибательно обольстителен и обладает всеми статьями самца-производителя. «И даже такой, как сейчас, старый и измочаленный, в постели он, наверное, еще тигр», – сказала она. Однако, по ее мнению, этот дар Господен он размотал на притворство. Невыносимо было слушать его хвастовство: он, мол, самый плохой президент в своей стране. А как он выставлял себя аскетом, она-то убеждена, что он – хозяин половины сахарных заводов на Мартинике. И лицемерно лгал, будто презирает

власть, видно же: все отдаст, лишь бы хоть на миг вернуть президентство, чтобы заставить своих врагов землю грызть.

– И все это, – заключила она, – только затем, чтобы увидеть нас у своих ног.

– А что ему от этого? – спросил Омеро.

– Ничего, – сказала она. – Просто кокетство – это порок, который не насыщается ничем.

Ярость ее была столь велика, что Омеро невыносимо было оставаться с ней в постели, и он, закутавшись в одеяло, пошел досыпать на софу в гостиную. Ласара перед рассветом тоже поднялась с постели, совершенно голая, как привыкла спать и ходить по дому, и затянула долгий, однотонный монолог сама с собой. И настал момент: она вычеркнула из памяти человечества этот нежеланный ужин целиком, без следа. А рано утром возвратила одолженные вещи их хозяевам, сменила новые занавески на старые, поставила мебель на свои места, и дом снова приобрел достойный и бедный вид, какой имел до вчерашнего вечера. А под конец сорвала со стен газетные вырезки, фотографии, флажки ненавистой предвыборной кампании и отправила все это в помойное ведро с завершающим криком:

– К чертям собачьим!

Неделю спустя после ужина Омеро у выхода из клиники увидел президента – тот ждал его и попросил пойти с ним в гостиницу. Они преодолели три очень высоких этажа и поднялись в мансарду с единственным слуховым окном, глядевшим в пепельно-серое небо; на проволоке, протянутой через всю комнату, сушилось белье. Половину помещения занимала двуспальная кровать, кроме нее в комнате были стул, умывальник, портативное биде и простенький шкаф с мутным зеркалом. Президент заметил, какое впечатление все это произвело на Омеро.

– Это та самая берлога, в которой я провел свои студенческие годы, – сказал он, словно извиняясь. – Я снял ее заранее, еще находясь в Фор-де-Франс.

Он достал из бархатной сумки и разложил на постели последние остатки своих запасов: несколько золотых браслетов, украшенных драгоценными камнями, тройной длины жемчужное ожерелье и еще два золотых, с камнями; три медальки с изображением святых и золотые цепочки к ним; золотые серьги с изумрудами, еще одни – с бриллиантами и другие – с рубинами; две ладанки и медальон, одиннадцать перстней с разнообразными камнями и бриллиантовую диадему, которая вполне могла принадлежать королеве. Потом из отдельного футляра он вынул три пары серебряных запонок, две пары золотых, и соответственно каждой паре – булавки для галстука, и еще карманные часы, оправленные в белое золото. И наконец, из коробки для туфель достал шесть своих орденов: два золотых, один серебряный, остальные – так, железки.

– Вот все, что у меня осталось, – сказал он.

Ничего не поделаешь, приходилось продавать для оплаты лечения, и он хотел, чтобы Омеро помог ему, соблюдая при этом величайшую тайну. Но Омеро полагал, что не может выполнить просьбу без магазинных счетов на все эти вещи.

Президент объяснил, что это – вещи его жены, унаследованные ею от бабки еще с колониальных времен, которая, в свою очередь, получила в наследство пакет акций золотых рудников в Колумбии. Часы, запонки, заколки для галстука были его собственные. Награды, разумеется, ранее никому не принадлежали.

– Не думаю, чтобы у кого-нибудь могли быть счета на такие вещи, – сказал он.

Омеро был непреклонен.

– В таком случае, – рассудил президент, – мне не остается другого выхода, как сделать все самому.

Он принялся собирать драгоценности с хорошо рассчитанным спокойствием.

– Умоляю, дорогой Омеро, простите меня, нет бедности страшнее, чем у бедного президента, – сказал он. – Выжить – и то неприлично.

В это мгновение Омеро увидел его глазами сердца и сдался.

В тот вечер Ласара вернулась домой поздно. Еще с порога она увидела сверкающие в ртутном свете гостиной драгоценности и помертвела, словно увидела скорпиона в постели.

– Не дури, парень, – сказала она испуганно. – Зачем здесь эти штуки?

Объяснения Омеро встревожили ее еще больше. Она села и принялась изучать драгоценности, одну за другой, тщательно, словно ювелир. Наконец вздохнула. «Наверное, целое состояние». И уперлась взглядом в Омеро, силясь разобраться, – она совсем запуталась.

– Черт, – сказала она. – Как узнать, правда ли все, что говорит этот человек?

– А почему не правда? – сказал Омеро. – Только что своими глазами видел: он сам стирает белье и сушит в комнате, точь-в-точь как мы – на проволоке.

– От жадности, – сказала Ласара.

– Или от бедности, – сказал Омеро.

Ласара снова принялась рассматривать драгоценности, но уже не так внимательно – и была сражена. Итак, на следующий день, облачившись в лучшее свое платье, надев на себя самые дорогие, на ее взгляд, украшения и по перстню на каждый палец, даже на большой, а на каждую руку – столько браслетов, сколько поместилось, она отправилась продавать драгоценности. «Посмотрим, кто попросит торговые счета у Ласары Дэвис», – кичливо заявила она, выходя из дому, и рассмеялась. Она намеренно выбрала ювелирную лавку скорее модную, чем респектабельную, ибо знала, что там продают и покупают, не задавая лишних вопросов, и вошла в нее, испытывая страх, – однако вошла твердым шагом.

Худой и бледный приказчик, одетый по форме, встретил ее церемонно, поцеловал руку и приготовился служить чем может. Внутри было светлее, чем днем, от зеркал и ярких огней вся лавка казалась сплошным бриллиантом. Ласара, почти не глянув на приказчика из опасения, что он раскроет ее игру, проследовала в глубину лавки.

Продавец предложил ей сесть у одного из трех бюро в стиле Людовика XV, которые служили индивидуальными прилавками, и расстелил перед ней белоснежно-чистую салфетку. А сам сел напротив и стал ждать.

– Чем могу служить?

Она сняла перстни, браслеты, ожерелья, серьги – все, что было на ней, и разложила на прилавке в шахматном порядке. Она хочет только одного, сказала Ласара, зная истинную цену этих вещей.

Ювелир вставил в левый глаз монокль и принялся в полном молчании изучать драгоценности. Наконец, все еще продолжая рассматривать их, спросил:

– Вы сами – откуда?

Этого вопроса Ласара не ожидала.

– О, сеньор, – вздохнула она. – Издалека.

– Я так и думал, – сказал он.

И снова замолчал, а Ласара продолжала безжалостно сверлить его своими ужасными глазами цвета золота. Особое внимание ювелир уделил бриллиантовой диадеме и положил ее отдельно от других вещей. Ласара вздохнула.

– Вы – ярко выраженная Дева, – сказала она.

– Откуда вы взяли?

– Из вашего поведения, – сказала Ласара.

Больше он не сказал ни слова до конца осмотра, а затем обратился к ней с той же церемонной сдержанностью, что и вначале:

– Откуда все это?

– Наследство от бабушки, – сказала Ласара, и голос ее напрягся. – Она умерла в прошлом году в Парамарибо, ей было девяносто шесть лет.

И тогда ювелир посмотрел ей в глаза.

– Очень сожалею, – сказал он. – Но единственная ценность этих вещей – цена золота, по весу.

Он взял диадему кончиками пальцев, и она засверкала в ослепительном свете.

– Кроме этой, – сказал он. – Это вещь старинная, может, даже египетская, и оказалась бы бесценной, не будь бриллианты в плохом состоянии. Но все равно она имеет историческую ценность. А вот камни на других украшениях – аметисты, изумруды, рубины, опалы – все без исключения фальшивые. Без сомнения, вначале тут были настоящие камни. – Ювелир собирал украшения, чтобы вернуть их Ласаре. – Но вещи столько раз переходили от поколения к поколению, что настоящие камни остались где-то по дороге, а их место заняли стекляшки.

Ласара почувствовала зеленую дурноту, глубоко вздохнула и подавила страх. Продавец утешил ее:

– Такое часто случается, сеньора.

– Я знаю, – сказала Ласара, успокоившись. – Поэтому и хочу от них отделаться.

Тут она почувствовала, что игра окончена, и снова стала сама собой. Без лишних церемоний она достала из сумки запонки, карманные часы, закладки для галстука, ордена, золотые и серебряный, всю эту президентскую мишуру, и выложила на стол.

– И это – тоже? – спросил ювелир.

– Да, все, – сказала Ласара.

Швейцарские франки, которыми с ней расплатились, были такими новенькими, что она испугалась – не перепачкает ли пальцы свежей краской. Она взяла деньги, не пересчитывая, и ювелир в дверях попрощался с ней столь же церемонно, как и поздоровался. Открыв перед ней стеклянную дверь и пропуская ее вперед, он помедлил немного.

– И последнее, сеньора, – сказал он. – Я – Водолей.

В тот вечер Омеро с Ласарой отнесли деньги в гостиницу. После новых подсчетов оказалось, что не хватает еще немного. И президент снял с себя и положил на постель обручальное кольцо, карманные часы с цепочкой, запонки и закладку для галстука.

Обручальное кольцо Ласара отдала ему об ратно.

– Только не это, – сказала она. – Память не продается.

Президент принял ее довод и надел кольцо на палец. Ласара отдала ему обратно и карманные часы. «Это – тоже», – сказала она. Тут президент не был с ней согласен, однако она водрузила часы на место.

– Кто же продает часы в Швейцарии?

– Мы уже продали одни, – сказал президент.

– Но их купили не из-за часов, а из-за золота.

– Эти тоже золотые, – сказал президент.

– Да, – сказала Ласара. – Но вы можете обойтись без операции, а без времени вам не обойтись.

Не взяла она и золотую оправу для очков, хотя у него была другая, черепаховая. Ласара взвесила на ладони вещи и положила конец сомнениям.

– Все, – сказала она. – Этого достаточно.

И, прежде чем выйти, сняла с проволоки мокрое белье, ни слова не говоря, и забрала с собой, чтобы высушить и выгладить дома. Они уехали на мотоцикле, Омеро – за рулем, Ласара – на багажнике, сзади, обняв его за талию. В багряном вечернем небе загорались уличные фонари. Ветер сорвал последние листья, и деревья казались древними бесперыми ископаемыми. С буксира, шедшего вниз по Роне, повсюду гремело радио, орошая прибрежные улицы струей музыки. Жорж Брассен пел: «*Mon amour tient la barre, le temps va passer par là, et le temps est un barbare dans le genre d'Attila, par là où son chèvre passe l'amour ne repousse pas*»⁴.

⁴ Мы любовь с дорогой сравним, и проходит время по ней, время – варвар, идет на Рим гунн Атилла с ордою своей. Под

Омеро и Ласара ехали молча, опьяненные песней и неувядающим запахом гиацинтов. Спустя какое-то время она словно очнулась от долгого сна.

– Черт, – сказала она.

– Ты о чем?

– Несчастный старик, – сказала она. – Какое дерьмо эта жизнь!

* * *

В следующую пятницу, седьмого октября, президента оперировали, и после операции, длившейся пять часов, положение вещей оставалось столь же туманным, как и до нее. По сути дела, единственное утешение состояло в том, что он был жив. Через десять дней президента перевели в общую палату, где его можно было навещать. Это был другой человек: растерянный, исхудавший, поредевшие волосы выпадали от одного прикосновения к подушке. От его внешнего великолепия осталась лишь мягкая пластичность рук. Когда он в первый раз попытался пойти с помощью двух специальных ортопедических палок, можно было умереть от жалости, глядя на него. Ласара осталась ночевать в палате, чтобы не тратить на ночную сиделку. Всю первую ночь один из больных кричал – от страха перед смертью. Те нескончаемые ночные бдения вымели из сердца Ласары последние остатки зла, которое она на него держала.

Когда его выписывали из больницы, как раз исполнялось четыре месяца его пребывания в Женеве. Омеро, рачительный распорядитель его скудных средств, оплатил больничные счета, в своей карете «скорой помощи» отвез его к себе домой и вместе с другими служащими, помогавшими ему, поднял на восьмой этаж. Они поместили его в комнате, где спали дети, и президент понемногу стал возвращаться к жизни. Он делал восстановительные упражнения с военной неукоснительностью и опять стал ходить с одной своей тростью. Но теперь, даже в своей одежде, он был совсем не тот, прежний, – и внешним видом, и поведением. Боясь наступления зимы – а зиму обещали суровую, и в тот год она на самом деле оказалась самой суровой за последние сто лет, – он вопреки мнению врачей, намеревавшихся наблюдать его еще некоторое время, решил вернуться домой на судне, уходившем из Марселя тринадцатого декабря. В последний момент оказалось, что денег на дорогу не хватает, и Ласара хотела потихоньку от мужа добавить из тех, что они копили для детей, но обнаружила, что там осталось меньше, чем она думала. И тогда Омеро признался, что потихоньку от нее уже брал оттуда – когда недоставало на оплату больничных счетов.

– Ну ладно, – смирилась Ласара. – Будем считать: он – наш старший сын.

Одиннадцатого декабря, метельным снежным днем, они посадили его в поезд на Марсель, и только возвратившись домой, нашли на тумбочке в детской его прощальное письмо. Там же он оставил и свое обручальное кольцо для Барбары, кольцо покойной жены, которое никогда не пытался продать, и часы с цепочкой – для Ласары. Отъезд президента пришелся на воскресенье, и некоторые соседи-земляки из карибских краев, давно раскрывшие секрет, вместе с музыкантами из Веракруса, игравшими на арфах, пришли на вокзал в Корнавэн. Президент, в потрепанном пальто и длинном цветастом шарфе, прежде принадлежавшем Ласаре, едва дышал, но все же остался в открытом тамбуре последнего вагона и махал провожающим шляпой под ударами снежного ветра. Поезд уже начал набирать скорость, когда Омеро вдруг увидел, что у него в руках осталась трость президента. Он добежал до самого края платформы и швырнул трость достаточно сильно, чтобы президент смог поймать ее, но трость упала меж колес и разлетелась на куски. Это был ужасный миг. Последнее, что увидела Ласара, – дрожащая рука, пытающаяся схватить палку, но так и не ухватившая ее, и проводник, поймавший

уже в воздухе за шарф и спасший старика, с ног до головы залепленного снегом. Ласара в ужасе бросилась к мужу, пытаясь засмеяться сквозь слезы.

– Господи Боже, – закричала она. – Да его же никакая смерть не возьмет.

Он прибыл на место живым и здоровым, как сам сообщил им в длинной благодарственной телеграмме. Потом больше года они ничего о нем не слышали. А затем пришло письмо на шести страницах от руки, и в этом письме нельзя было его узнать. Боль снова вернулась, такая же сильная и неотступная, как и раньше, но он решил не обращать на нее внимания и жить как живет. Поэт Эме Сезер подарил ему трость с перламутровой инкрустацией, но он решил не пользоваться ею. Вот уже шесть месяцев как он регулярно ест мясо и всевозможных моллюсков и способен в день выпить двадцать чашек самого горького кофе. А вот кофейную гущу на доньшке больше не разглядывает, потому что все ее пророчества вышли наоборот. В день, когда ему исполнилось семьдесят пять, он выпил несколько рюмок превосходного мартиникского рома, и чувствовал себя после них замечательно, и снова стал курить. Разумеется, ему не стало лучше, но и хуже – тоже не стало. Однако истинным поводом для письма было намерение сообщить им, что он предпринимает усилия вернуться на родину и встать во главе обновленного движения во имя справедливого дела и достоинства родины, хотя может быть, всего лишь ради тщеславного желания не умереть в собственной постели от старости. И в этом смысле, заканчивал он письмо, поездка в Женеву стала для него судьбоносной.

Святая

Снова я увидел Маргарито Дуарте через двадцать два года. Он появился неожиданно на одной из таинственных улочек квартала Трастевере, и я с трудом узнал его: он утратил легкость в испанской речи и приобрел манеры древнего римлянина. Волосы его побелели и поредели, и не осталось следа от его мрачного вида и траурных одежд андского литератора, в которых он некогда прибыл в Рим, но постепенно, разговаривая с ним, я извлекал его из-под наслоений вероломных лет и вновь увидел таким, каким он был: замкнутым, непредсказуемым и упорным, как каменотес. Перед второй чашкой кофе в одном из баров, куда мы хаживали еще в прежние времена, я решился задать ему вопрос, разъедавший мне нутро:

– А что стало со святой?

– Здесь она, святая, – ответил он. – Все еще ждет.

Только тенор Рафаэль Рибера Сильва и я могли понять, какое страшное человеческое напряжение заключалось в его словах. Мы так хорошо знали его драму, что долгие годы считали: Маргарито Дуарте – персонаж в поисках автора, персонаж, которого мы, писатели, ждем всю жизнь, и если я не дал ему найти меня, то лишь потому, что финал его истории представлялся мне невообразимым.

Он прибыл в Рим той сияющей весной, когда на Папу Пия XII напала икота, и никакое – ни белое, ни черное – искусство врачей и знахарей не могло Папе помочь. Он первый раз выехал из своего прилепившегося к скалам селения Толима в колумбийских Андах, и это было сразу заметно, даже по его манере спать. В одно прекрасное утро он появился в нашем консульстве с полированным сосновым чемоданом, по форме и размерам походившим на футляр виолончели, и изложил консулу удивительную причину своего приезда. Консул тотчас же позвонил по телефону тенору Рафаэлю Рибера Сильве, своему земляку, чтобы тот снял для Маргарито Дуарте комнату в пансионе, где оба мы жили. Так я с ним и познакомился.

Маргарито Дуарте не одолел даже начальной школы, но зато страсть к беллетристике позволила ему получить более широкое образование благодаря запойному чтению – он читал все, что попадалось, любое печатное слово. В восемнадцать лет, будучи писарем в местном муниципалитете, он женился на очень красивой девушке, которая вскоре умерла родами, произведя на свет дочь. Девочка, еще более красивая, чем мать, умерла от лихорадки в возрасте семи лет. Но собственно история Маргарито Дуарте началась за полгода до его прибытия в Рим, когда стали переносить сельское кладбище, чтобы построить на том месте плотину. Как и все тамошние жители, Маргарито выкопал останки своих близких, чтобы перенести на новое кладбище. Жена стала прахом. А вот лежавшая в соседней могиле дочь по прошествии одиннадцати лет оказалась совершенно не тронутой тлением. До такой степени, что, когда открыли гроб, услышали аромат свежих роз, захороненных вместе с нею. Но самое удивительное: тело было невесомым.

Сотни любопытных, привлеченных слухом о чуде, наводнили селение. Сомнений не оставалось. Нетленность тела была безошибочным признаком святости, и даже сам епископ местной епархии согласился с тем, что такое чудо следует представить на суд Ватикана. Были собраны средства, с тем чтобы Маргарито Дуарте отправился в Рим сражаться за дело, которое было уже не только его личным и даже не узкоместным, но общенародным.

Рассказав нам эту историю в пансионе, расположенном в тихом квартале Париоли, Маргарито Дуарте снял висячий замок и открыл крышку своего удивительного чемодана. Таким образом мы с тенором Рибера Сильвой приобщились к чуду. Она ничуть не походила на сморщенную мумию, которых можно видеть во многих музеях по всему миру, – просто девочка в наряде невесты, которая и после долгого пребывания под землей продолжала спать. Кожа была блестящей и прохладной, открытые глаза – прозрачными, отчего возникало непереноси-

мое ощущение, что они видят нас оттуда, из смерти. Атлас и венок из флердоранжа не устояли – в отличие от кожи – перед суровым временем, но розы, вложенные девочке в руки, оставались живыми. Вес соснового футляра, когда мы вынули из него тело, и в самом деле остался прежним.

Маргарито Дуарте начал свои хлопоты на следующий день после приезда, вначале пользуясь дипломатической помощью, скорее сочувственной, нежели действенной, а потом – всеми возможными уловками, какие мог придумать, чтобы обойти бесчисленные препятствия на пути к Ватикану. Он не любил рассказывать о своих хлопотах, но мы знали: они были многотрудными и тщетными. Он вступил в контакт со всеми религиозными конгрегациями и гуманитарными фондами, какие только встретились на его пути, его выслушивали со вниманием и без удивления и обещали немедленно начать ходатайства, но все кончалось ничем. Правду сказать, время было не самое подходящее. Все, что имело какое-то отношение к Святому Престолу, откладывалось до поры, когда Папа преодолеет икоту, с которой не могли справиться не только отборные силы академической медицины, но и разного рода магические средства, присылавшиеся со всех концов света.

Наконец к исходу июля Пий XII оправился от болезни и отбыл в летний отпуск в Кастель-гандольфо. Маргарито понес святую на первую еженедельную аудиенцию в надежде показать ее Папе. Тот по явился во внутреннем дворе, на балконе, так низко расположенном, что Маргарито разглядел его хорошо отполированные ногти и уловил исходивший от него запах лаванды. Но к туристам, съехавшимся со всего света, Папа вопреки надеждам Маргарито не спустился, а лишь произнес одну и ту же речь на шести языках и в заключение благословил всех скопом.

Раз за разом дело откладывалось, и Маргарито решил заняться им вплотную, а потому сам отнес в канцелярию Ватикана письмо почти на шестидесяти страницах, написанное от руки, на которое не получил ответа. Он этого ожидал, потому что чиновник, который принял письмо с соблюдением всех формальностей, не удостоил мертвую девочку даже взглядом, и проходившие мимо служащие смотрели на нее безо всякого интереса. Один из них рассказал, что в прошлом году они получили более восьмисот писем с просьбой о причислении к лику святых не тронутые тлением трупы, обнаруженные в разных местах по всему миру. Маргарито все-таки попросил, чтобы он проверил и убедился в невесомости тела. Чиновник проверил, но признать чудо отказался.

– Должно быть, это случай коллективного самовнушения, – сказал он.

В редкие свободные часы по будням и жаркими летними воскресными днями Маргарито сидел у себя в комнате и запоем читал книги, которые, как ему казалось, представляли интерес для его дела. В конце каждого месяца – по собственной инициативе – он делал в школьной тетрадке прециозным почерком старшего писца скрупулезные записи о произведенных расходах, чтобы затем дать точный и своевременный отчет землякам, вложившим свои средства в его поездку. К концу года он знал лабиринты Рима так, словно тут родился, и по-итальянски говорил свободно и немногословно, как на своем андском испанском, и больше чем кто-либо другой знал о процедурах канонизации. Однако гораздо больше времени понадобилось, чтобы он сменил свое мрачное одеяние, жилет и шляпу как у судьи, которые в Риме в ту пору носили лишь члены тайных обществ с неведомыми целями и задачами. Рано утром он уходил с футляром, в котором находилась святая, и возвращался подчас поздно ночью, измученный и печальный, но всегда – с проблеском надежды, которая помогала ему набраться сил для следующего дня.

– Святые живут в своем собственном времени, – говорил он.

Я был тогда в Риме первый раз, учился в Экспериментальном центре кино, и никогда не забуду, как насыщенно жил в ту мученическую пору. Пансион, где мы жили, на самом деле был вполне современной квартирой, в двух шагах от Виллы Боргезе; хозяйка занимала две спальни, а четыре сдавала студентам-иностранцам. Мы звали ее Мария Прекрасная, она была красивой

и страстной, в расцвете своей осени, и свято придерживалась правила: в своей комнате каждый – сам себе король. Повседневные же заботы ложились на плечи ее старшей сестры, тетушки Антониеты, чистого ангела, только что без крыльев, она работала целый день, сновала туда-сюда с ведром и жесткой щеткой, начищала мраморные полы – дальше некуда. Это она приучила нас есть певчих птиц, на которых охотился Бартолино, ее муж, в силу дурной привычки, оставшейся ему от войны, и она, в конце концов, забрала Маргарито к себе домой, когда ему стало не по средствам жить у Марии Прекрасной.

Не было менее подходящего места для образа жизни Маргарито, чем тот бесшабашный дом. Там постоянно что-то происходило, даже рано утром, – на рассвете нас будил мощный львиный рык, несущийся из зоосада Виллы Боргезе. Тенор Рибери Сильва добился привилегии – римляне смирились с его темпераментными вокальными упражнениями. Он вставал в шесть, принимал лечебную ледяную ванну, приводил в порядок мефистофельские брови и бородку, и лишь когда был полностью готов – в халате из клетчатой шотландки, в кашне китайского шелка, надушенный своим особым одеколоном, – приступал к вокальным упражнениям и отдавался им всей душой и телом. Он распахивал настежь окно своей комнаты, в которое еще глядели зимние звезды, и принимался разогревать голос – начиная распевку с отрывков из лучших любовных оперных арий, сперва тихо, потом все громче и громче, и наконец – в полный голос. И каждый день происходило одно и то же: когда он брал нижнее до, лев из Виллы Боргезе вторил ему рыком, от которого содрогалась земля.

– Да ты просто Святой Марк во плоти, *figlio mio*⁵, – восклицала тетушка Антониета в искреннем изумлении. – Он один мог разговаривать со львами.

Но однажды утром ему ответил не лев. Он начал любовный дуэт из «Отелло»: «*Gia nella notte densa s'estingue ogni clamor*»⁶. И вдруг из глубины двора ему ответило прекрасное сопрано. Тенор продолжал петь, и оба голоса спели весь дуэт полностью к вящей радости соседей, которые распахнули окна, дабы и их дома освятил мощный зов неудержимой любви. А Рибери Сильва чуть было не потерял сознание, когда узнал, что его невидимой Дездемоной была не кто иная, как великая Мария Канилья.

⁵ Сын мой (*ит.*).

⁶ В тишине глубокой ночи ни один не слышен звук (*ит.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.